



Мою фигуру окинув косо,
откуда-то сбоку выплыла дама.
И я, как сквозь сон, услышал:
— Знакомся!
— Это мама...

И мама, довольную мину сделав,
руку протягивая,
загудела,
что очень приятно,
что очень ждали,
что очень тронуты
и так далее...

...Спрашивает мама
об одном и том же

Говори
что

я с
Требуе

радости
— Пра

что и
мног

Я молчу
недоу

и, п
вор
— Бл



СЮЖЕТ НА ВЫРОСТ

...Почему ты не пишешь писем.
Почему ты молчишь, скажи?

.....
Может, люди очень хорошие
Помогли об этом забыть,
Может, прошлое только прошлым,
Полустершимся входит в быт.
Ты прости, но в мысли ко мне
Часто лезет такая чушь,
Я не очень-то верю в это,
В это верить я не хочу.

Может, осень во всем виновата?
Если так — т
Облака. как

Елена
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Германия

Глава из готовящейся книги «Первая любовь и другие истории»
(журнальный вариант)

(Воспоминания первой жены Роберта Рождественского)

— Mein Got, Buschtaben, bitte! (О боже, по буквам, пожалуйста!) — реакция на мою длинную фамилию. Тут в Германии они в основном короткие, удобные при деловом общении.

Warten Zimmer — комната ожидания у врача.

— Herr Stein, Frau Wieso, — вызывает медсестра. Доходит до меня, и не в силах выговорить, призывно машет рукой. На языковых курсах для удобства — я просто Frau Elena.

— Могла бы и на короткую сменить, — намекают мне. — А что, Stern, Lok, Kern. Звучит?

— Звучит! — соглашаюсь, — особенно Kern, но мне не надо.

— Warum? (Почему?)

Как объяснить, что за пласт памяти хранит она для меня, эта, оказавшаяся неудобной для немцев фамилия.

Последний день августа. Стоим у доски с расписанием лекции. Еще не знакомы. Он не попал с первого захода в Литинститут в Москве. Я не набрала баллов на филфак в Ленинграде. В том пятидесятом Карело-Финский университет объявил недобор. И вот мы оба в Петрозаводске:

— Вы, конечно, из Питера?

— Почему конечно?

— Там ходят такие девушки.

— Какие?

— Похожие на свой город.

Краснею. В женской школе, что равно монастырю, к комплиментам не привыкла.

Первая лекция. Занимаю, как будущая прилежная студентка, место за первым столом. Роберт обосновался на «камчатке». Спиной чувствую: смотрит. Мои темные волосы заплетены в косу. Вокруг все светлоголовые — республика-то Карело-Финская. Первая записка: «Как насчет вечерней прогулки? Покажу город». Оказывается, родители его два года как живут тут. Отчима-полковника перевели по службе. У Роберта есть уже друзья среди местных поэтов. И еще тренируется он в сборной Карелии по баскетболу. Узнаю об этом от него, когда идем по маршруту, что станет для нас привычным: от общежития на Анохина, где я поселилась, по улице Ленина к парку на берегу Онего.

А в парке северная осень, но мы ее не очень-то замечаем. Идет нетерпеливое узнавание друг

друга: как относимся к стихам, кто любимый поэт; ну а дальше про что только не спрашиваем и не вспоминаем.

– Он про то, как кочевал с родителями-военными, не успевая привыкнуть к новой школе: Кенигсберг, Рига, даже Вена. Я – про блокаду и как нас вывозили, спасая, по ладожскому льду. Он про маму, которая на фронте была полевым хирургом; про село Косиха на Алтае, где родился.

– А с каких лет вы себя помните? – спрашивает.

– С пяти вроде....

– Почти как Лев Толстой. И что было в пять?

– Меня чуть цыгане не украли.

– Где?

– В Иркутске. Родители туда уехали работать после института. Я бегала по двору, мимо проходил табор, видимо чем-то заманили, раз пошла с ними. Хорошо, соседи увидели и сказали маме... Была настоящая погоня. Табор бросил меня на дороге.

– Ничего себе! А если бы не отбили? Стала бы цыганочкой. Пела и плясала, и не шла теперь рядом.

Роберт неожиданно перешел на «ты». Смущаясь. Мы шли, не касаясь друг друга, точнее боясь прикоснуться. Шуршали опавшими листьями, и наши короткие биографии шли за нами по пятам. Хотя не такие уж и короткие. В них было то самое, сталинское, время в подробностях.

– Отец воевал? – осторожно спросил Роберт.

– Да, – отвечаю. – Под Ленинградом, в летной части. Его как раз перед войной выпустили, – вырвалось у меня.

Пауза. И вопрос с пониманием:

– Пятьдесят восьмая?

– Да, в тридцать восьмом он был начальником Байкальского пароходства. Объявили польским шпионом.

– Почему польским?

– Наверное, потому что родился в Белостоке.

Роберт долго молчит.

– А моего расстреляли. (Тоже пятьдесят восьмая.)

Узнаю уже позже; была другая версия, точнее семейная легенда: ушел на фронт добровольцем. Погиб. Понятная по тем временам легенда. Многие матери поступали так, чтобы спасти детей. И если выходили замуж – давали им новые фамилии. Так и Роберт стал Рождественским, а не Петкевичем.

Мы доверили друг другу наши тайны и от этого стали сразу ближе.

– Отец, когда вернулся, что-то рассказывал?

Про самое страшное только маме, но кое-что и при мне.

– Это была Заярская тюрьма под Братском: в камере битком, дышать нечем. Открывают дверь,



*Памятная доска,
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 7*

спрашивают: «Кровельщики есть?» Отец вызвался, хотя и не был им. На крыше не мог надышаться. Конец зимы. Солнце припекало. А у него кожа такая – загар быстро схватывает. Через неделю вызывает следователь, еще не начал допрос, встает из-за стола и бьет отца по лицу.

– За что?..

А просто за то, что бледный, замученный делами следователь позавидовал загорелому ээку.

Уметь слушать – тоже талант. Роберт умел. К тому же лагерная тема в начале пятидесятых была, как тюремные ворота, за семью замками.

– Когда отца забрали, мама осталась одна, беременная. Ночью за стеной раздался выстрел. Покончил с собой заместитель отца. Накануне его исключили из партии. А у мамы начались схватки. Никто не хочет везти до станции жену «шпиона». Нашелся все же человек. Запряг лошадей, отвез.

Мама вспоминала роды: ей говорят, мальчик у вас. Думала, все, отмучалась. А тут снова схватки. Она даже не знала, что будет двойня. Так появились на свет мои братья: Вова и на час младше Юра.

Маме удалось отправить телеграмму в Ленинград сестре отца – Оле. Не верила, что сможет приехать. А Оля приехала, как декабристка, через всю страну. Свидание с отцом не дали. Они с Олей наняли машину до Иркутска. Остановились в избе погреться. А в это время с багажника кто-то срезал чемоданы – там пеленки и детские вещи. Пришлось пеленки заменить газетами, а в них на каждой странице огромные портреты Сталина. Боялись даже так использовать газеты.

Добрались до Иркутска. Билетов нет. Подходит поезд. Его штурмуют. Только у одного вагона пусто – международный. Оля кидается к проводнице, снимает золотые кольцо и крестик. Та шархается от нее. «Не могу! Куда я вас?» Близнецы орут, некормленные. И тут в тамбуре возник человек: «Пропустите в мое купе». Высокий, длинное пальто, подбитое лисьим мехом.

Они сразу не поняли даже – какое чудо на них свалилось!

Проводница приносит простыни, их рвут на пеленки. Мама кормит близнецов по очереди, те затихают.

Хозяин купе курит в коридоре. Зашел, кивает на близнецов.

– Отец в лагере?

– В тюрьме, – отвечает Оля. – Мой брат, ее муж. Он кристально честный.

Незнакомец больше не задает вопросов. Уходит курить. Мама с Олей теряются в догадках: почему так поступил? Рискует. И для себя какие неудобства создал. Поезд хоть и скорый, но дорога до Москвы дальняя. Кто он?

Близнецы спят под бодрую песню из местного радиоузла: сейчас подумала, а какая могла звучать песня. Может, и эта:

*Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор...*

– перед войной ее пели повсюду.

– Можно узнать ваше имя? – спрашивает мама. – Сыновья подрастут, расскажу, кто их спас.

– Буду за вас всегда молиться, – добавляет Оля. (Она католичка, разумеется, тайно.)

– Не надо. Так спокойней для вас, – отвечает незнакомец.

Когда подъезжали к Москве, он посоветовал им перейти в тамбур другого вагона. Мама и Оля увидели, как его встречают трое.

– Смотри! Арестовывают, – шепнула Оля.

– Вроде нет. Пожимают руки, – ответила мама. – Хотя могут и так...

Гадали, кто он: дипломат? Разведчик? Политик?

Может, сам ехал на смерть – поэтому и решил помочь, так и осталось загадкой.

– Бог помог! – уверяла верующая Оля.

Роберт проявляет инициативу: взялся тренировать женскую волейбольную команду из первокурсниц. Записываюсь тут же, хотя абсолютно не спортивная. Какая физкультура в послевоенной школе: прыгали через «козла», ходили по бревну. А тут все пришло: и пас мягкий, и подача крученая. Не сразу, но чего не сделаешь ради такого тренера. А тренер похваливает, спотыкаясь на первом слоге: м-молодец!

Во время тренировок мешает коса, как ни закрыть, выбивается. Решаюсь на революционный шаг – обрезать. Даже удачно (по чьему-то совету) продаю ее в местный драмтеатр.

Появляюсь в спортзале, на голове «венчик мира» – так называлась модная в то время прическа: прямой пробор, по краям мелкие кольца перманента. Крики, возгласы, кто-то с намеком: «Потеряв голову, по волосам не плачут».

Роберт подходит к старенькому пианино в углу. Берет траурные аккорды. Позже приглядится, скажет лестное для меня: «Почти как Дина Дурбин!» Тогда с ее участием шли трофейные фильмы.

На деньги, вырученные за косу, всей комнатой (нас было пятеро) отправились после лекций в местный ресторан. (Он же кафе, он же столовая.) Среди нас уже объявился лидер – Вера Ломоносов. Фамилию забыла. Прозвище получила по той причине, что приехала из Холмгород, откуда родом ее знаменитый земляк. Небольшого роста, плечистая, жесткие волосы забирала назад круглой гребенкой, как делали в деревнях женщины, прежде чем надеть платок. Оставляла прядь. И всякий раз, когда готовилась к семинару или зачету, наматывала ее на палец. Упрямый ее жест будто говорил: все одолею, чего бы ни стоило.

Ломоносов раскрыла меня.

– Будем есть запеканку, – официантка принесла графинчик с какой-то жидкостью.

– Что это?

– Запеканка, как просили, сорок градусов, – подмигнула она.

Из-за полного отсутствия ресторанного опыта вышла осечка. Из кухни доносился смех, где официантка рассказывала про нас.

– Так что будем заказывать? – спросила, вернувшись.

– На ваше усмотрение, но обязательно сытное, – попросили мы. В общаге питались скудно. Варили или жарили картошку на плитке. Иногда открывали стеклянную банку по имени «борщ».

Наши прогулки продолжаются. Роберт больше

молчит. В основном говорю я. Черпаю истории из семейных рассказов. Например, про деда Акима, который в Белостоке во время еврейского погрома высунулся в форточку. Был он русским, точнее белорусом темной масти, к тому же бороду носил. В него тотчас выстрелили, успел отскочить. Пуля задела кусочек уха. А дед Аким был дремучим: боялся городского транспорта, ходил только пешком, спал на твердой лавке, хотя в горнице стояла нарядная кровать с периной и кружевным подзором.

Этот домик на Березовом острове (тогда еще пригород Ленинграда) четко сохранился в памяти. Мы любили ездить туда перед войной к родителям отца, деду Акиму и бабушке Вере. Получалось: на трамвае в деревню. Бумажные цветы на комод. Семейные фотографии, собранные в одной рамке под стеклом, тканые половики, ходики. И гитара отца на стене. Он выучился играть на ней по самоучителю. Бабушка Вера, как колобок, бегала босиком по снегу в сарай, где у нее были куры, кролики. Все рухнуло вмиг. В маленький домик угодил огромный снаряд. Это была южная часть Ленинграда – самая близкая к фронту. Отец вырвался навещать (его летная часть стояла в другом, северном, конце города) – не застал. В воде почти ничего не плавало. Все сгорело...

Историям не было конца; тем более после того, как Роберт признался, что готов слушать без конца. Ему все интересно, что связано со мной. Получалось, такая семейная сага с продолжением.

– Другая моя, городская, бабушка Рая – альтруистка, живет для нас – близких. Помогает многим с нашей улицы, хотя чем она может им помочь? Однажды даже к Кирову в Смольный ходила за кого-то хлопотать. Если бы в свое время выучилась, может, тоже в Смольный с портфелем ходила, – сказала она Кирову, который был первым секретарем Ленинградского обкома партии. Тот долго смеялся....

Мой другой дедушка, Лева, был красивым и добрым. Умер в блокаду. Его большая родня, как только в 1921 г. Ленин ввел НЭП (новую экономическую политику), откликнулась всей своей энергией и еврейской смекалкой, да так, что скоро уже они имели на Невском несколько крупных магазинов. Маму, ей тогда было 5 лет, возили в гости к разбогатевшей дедушкиной родне. Запомнилось ей, как вся большая семья сидит на ковре и... считает деньги – дневную выручку...

Роберт слушал с интересом, но восторга по поводу НЭПа, похоже, не разделял. А что знали мы тогда о той гениальной «придумке» Ленина, которая помогла на время остановить голод и была, по сути, моделью свободного рынка.

В 1928 году НЭП закончился. В одну ночь всех «частников» вывезли, кого на Соловки, кого в Норильск. Дедушкиных родственников тоже. Его самого не тронули. Он имел редкую по тем временам профессию – метранпаж ручного набора. Работал в типографии, где печаталась тогда большевистская газета «Петроградские ведомости».

В пятидесятом даже вспоминать о том, что твои дальние родственники нэпманы, небезопасно, пусть ты видела лишь на фотографиях их молодые энергичные лица. Но нам нравилось быть откровенными. Роберт тоже признался мне, что его назвали в честь Роберта Эйхе – первого секретаря западно-сибирского крайкома партии (в сороковые Эйхе, обвиненный в троцкизме, был уже расстрелян).

– А что, кто-то из вашей семьи и революцию застал? – спросил однажды Роберт.

Я вспомнила про «буржуазные липы» (опять же с подачи бабушки). Столетние красавицы росли вдоль всей нашей 3-й Красноармейской. Макушки доходили до четвертого этажа. Летом, когда окна открывали, пахло медом в комнатах. В революцию их спилили. Пилили долго, вручную, под революционные песни. Пни выкорчевывали еще дольше. И улица стала «одетой камнем».

Да, еще был случай, бабушка видела, как большевики из окна напротив (там жили белые офицеры) выкидывали людей. Потом трупы раскачивали и кидали в кузов машины. Кровь оставалась на булыжнике, пока не смыл дождь.

– Такого быть не могло, – усомнился Роберт.

Получалось, бабушкин взгляд на революцию из окна вторгался в святое: «мальчики иных времен будут плакать о времени большевиков» – а тут детский самосуд.

Роберт живет с родителями. Всякий раз, когда гуляем мы по уснувшим улицам, перекладывает в мои карманы шоколадные конфеты. На Анохина, как бы поздно ни вернулась – комната не спит. Ждет. Высыпаю на стол (по нашим общежитским меркам). Ставим чайник. Полуночицаем.

– Ну как, – интересуются, – целовались?

– Не-а, – отвечаю, – разговаривали.

– Хоть обнимались? – допытываются.

– Отстаньте!

Мне бы им тогда ответить строчками Андрея Вознесенского, которые появятся лет через десять: «У любви нет опыта, нету прегрешения. Только целомудренность отношения».

А что было вокруг, кроме нас двоих? Склоненные головы в читальном зале. Конспектируем брошюру Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Это позже сочинят и станут петь с насмешкой песенку: «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Тогда же

кратким конспект не получался. Нам внушили: каждое слово – мудрость вождя.

На лекциях возникают незнакомые для нас термины: «вейсманнизм», «морганнизм».

Оказалось, течения, названные именами зарубежных ученых и объявленные лженаукой, как и «генетика», как и Дарвин.

Понимаем ли мы, что происходит вокруг? Так и просится: «Да!» Но – «Нет». Нам по 18. Мы доверчивы пока, а может, не очень и вникаем.

Первая разлука в ноябрьские праздники. Общезнание пустеет. Разъезжаемся на три дня кто куда.

Домой новость пришла раньше меня в смешных строчках письма: «Познакомилась с мальчиком. Зовут Роберт. Он ни на кого не похож. Очень умный, при нем теряюсь».

– Надо же, мы с папой познакомились точно так же у доски с расписанием лекций, – вспоминает мама. – Я мечтала тогда в театральную поступить на режиссуру. Опоздала, «квота» на евреев закончилась – так оказалась в институте инженеров водного транспорта. Подходит ко мне молодой человек, спрашивает: «Поступаете?» Отвечаю: «Боюсь. Математика – темный лес для меня». «Ничего, поможем!» – пообещал. А выглядел он тогда! Спортивный, мужественный. Понятно было, что не вчерашний десятиклассник. Спросила его об этом. Ответил: «Знаете, как Луначарский назвал рабфаки? Пожарные лестницы, приставленные к окнам вуза. Вот я оттуда. И еще с Березового острова, пригород Ленинграда».

С ним за компанию поступала Тося, тоже с Березового. Они вместе росли. Настоящая русская красавица с золотистой косой. В нее сразу влюбился Яша Бельенсон, главный эрудит на курсе. Мы с папой поженились на первом курсе. Они с Тосей тоже. И потом вчетвером до окончания института были неразлучны. Ну а дальше ты знаешь ...

Да, я знала из тех же домашних рассказов. Во время войны, когда американцы открыли наконец «второй фронт» и помощь поступала северным путем, Бельенсона назначили начальником сразу двух портов – Ленинградского и Мурманского. Он справился блестяще. Получил орден Ленина. Стал легендарной личностью. На телеграмме, где американский президент поздравлял Сталина с Победой, значилось: «копия Бельенсону». Телеграмму, как потом Тося говорила, забрали при обыске.

Его арестовали во время известного «Ленинградского дела». Вскоре Тосе сообщили, что ее муж расстрелян при попытке к бегству. Аб-

сурд, близорукий интеллигент в очках – и побег? Через годы станет известно, что скончался он от пыток, так и не начав отбывать назначенный ему десятилетний срок. Позже придет реабилитация. Тося проживет долгую жизнь. Сыновья подрастут, свяжут свою судьбу с морем. Оба станут капитанами дальнего плавания! Но это все будет позже... тогда, в пятидесятом, за какую ниточку воспоминаний не потяни – отзовется трагедией.

А жизнь продолжалась... Для бабушки эти три ноябрьских дня стали ударной вахтой. Достала из старого, окованного железными обручами сундука куски шелка, остатки натуральных кружев и смастерила для меня новогоднее платье. Была она портнихой от бога. Еще до революции шила на французскую фирму.

Вернулась. Роберт встречает. Кинулись друг к другу. Вокзал придал смелости. Целуемся. Первый раз. Вечером, когда он заходит за мной в общежитие, застаёт пир. На столе то, что каждый привез: соленая рыба с Белого моря, варенье из морошки.

– Тост! – требуют от него.

И он с порога: «За вокзалы всех городов!» Кто-то переспросил, не поняв: «Какие вокзалы?» Тема дорог, вокзалов станет в его стихах любимой.

К утру выпал снег. Первый, может, растает? Нет. Пришла зима. Так на севере бывает. Декабрь запомнился стихами и холодом.

– Послушай: «Когда, туман превозмогая, пахнут набухшие ветра, земля откроется нагая, слегка бесстыдная с утра». Давид Самойлов. Знаешь такого?

Откуда было знать! Все под запретом. Роберт знал и читал, завороченный напором строк: «На то даны глаза поэту, чтоб разглядеть в крошечном быте, как даты лезут на планету с солдатским топотом событий». Тоже Самойлов. А вот Борис Корнилов: «От Махачкалы до Баку луны плавают на боку, и, качаясь, бегут волею от Баку до Махачкалы». Корнилов был запрещен. Как Гумилев и Смеляков.

Известный факт: когда Евтушенко познакомится с Робертом уже в Литературном институте, то удивится, откуда тот знает столько запрещенных стихов? Приехал вроде из провинции. А Роберту повезло: встретил учителя – Бориса Шмидта, тот вел в Петрозаводске городское литобъединение.

Роберта привел туда Марат Тарасов. Марат был старше нас на несколько курсов и считался главным университетским поэтом. Позже Роберт привел и меня.

– Тоже пишете? – спросил Шмидт.

– Нет, умеет слушать и понимать, – ответил за меня Роберт.

Про дактили, хореи и ямбы речи не шло. Шмидт не учил, как писать стихи. Просто прививал вкус к поэзии на лучших ее примерах. Это был духовный опыт. От него впервые услышали мы знаменитое, ставшее теперь хрестоматийным, стихотворение Мандельштама:

*Мы живем, под собою не чуя страны,
наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, –
Там припомнят кремлевского горца.*

В 50-м уже не было автора этих строк, замученного на этапе в Магадан. Не только читать его стихи, даже слушать их считалось преступным. Но интерес был выше опасности.

– Ребята, только ничего не записывайте, запоминайте, – просил Шмидт.

Много позже прочту у Бродского: «Мы должны назвать своим все, что помним наизусть».

Пришло письмо из дома.

– Что пишут? Как там? – спросит Роберт.

– Нормально, – отвечу.

Потом в общежитии ночью ворочаюсь, не уснуть. Ну почему не могу признаться ему, как трудно живет наша семья. Отца в 48-м снова арестовали. К тому времени он занимал должность главного диспетчера Морского и речного торгового порта.

Если про 38-й год узнала из домашних рассказов, то теперь это происходило на моих глазах. Обыск, зачем-то выгребают золу из печки (еще топили дровами в городских домах). Молчим: бабушка, мама, понятия. Среди них дворничиха тетя Паша, стоит, скрестив на груди руки. Вдруг все встрепенулись. В ужас происходящего вторгается смешное. Отцу на день рождения кто-то из плавсостава привез и подарил попугая. Оказалось, тот ругается ...матом. Хотели отдать в зоомагазин – не взяли. Не выкидывать же на улицу – пропадет. Решили на время оставить. Придумали даже, чем можно мат заглушать. Ставили пластинку. Птица замолкала. Близнецы уверяли, что даже закрывает свои маленькие глазки от удовольствия.

Во время обыска попугай проснулся и начал «выступать». Кагэбэшники растерялись. Один из них спросил:

– Кто-то остановить его может?

А кто мог? Только полюбившийся попугаю джаз под управлением Эдди Рознера (кстати, запрещенная тогда пластинка, да и сам Эдди Рознер отбывал срок).

Клетку вынесли на кухню, обыск продолжался. Отец сидел, застыв в парадной морской форме,

какую носят по праздникам: китель, фуражка с белым чехлом. Когда его увели, мы все высунулись в окна, «черного ворона» у подъезда не оказалось. Наверное, остановились за углом. Когда он шел, фуражка еще долго белела.

Знаменитые питерские «Кресты». Я в седьмом классе, вполне взрослая. В очереди, где принимали передачи, узнаю: если подняться по лестнице старого кирпичного дома (там жили тюремные служащие) и посмотреть в окно, то можно увидеть «прогулки». Решаю пойти. Меня напутствуют: «Увидишь, не окликай, а то прогулок лишат».

Мрачный внутренний дворик. Сверху видно, как маленькие фигурки двигаются по кругу. Мелькнула белая фуражка. Нет. Ошиблась. Кто-то хватается за меня сзади. Оглядываюсь. Пожилой тюремщик. Лицо доброе. Протягиваю три рубля, как учили в очереди. Взял.

– Кыш отсюда! – командует, улыбаясь при этом.

«Рад трешке», – успеваю подумать, мигом скатываюсь вниз.

Набережная Невы, куда выходит фасадом тюрьма, залита солнцем.

От адвоката стало известно, что не «58»-я.

Отца взяли по письму-доносу, где сообщалось, что «американские подарки», предназначенные для рабочих семей порта, по распоряжению отца, был как раз канун Первого мая, распределили и среди инженерно-технических работников.

Звучит чудовищно, но и отец, толком не понявший своей вины, и мы были просто счастливы: думали – арест из-за дружбы с бывшим начальником порта – легендарным Бельенсоном. А тут никакой политики. И срок небольшой – четыре с половиной года.

Его отправили в лагерь на станции Ижоры, недалеко от Ленинграда. Я туда ездила. Мама созвонилась с одной женщиной, у которой муж сидел там же. Запомнилось, как зимой подъезжаем на «подкидыше»-паровике к Ижоре. Оттуда шли пешком, волокли за собой по снегу фанерные послевоенные чемоданы. В них картошка, лук, махорка (а что еще можно?), и очень боялись волков. Невдалеке темнел лес. А в местных газетах как раз тогда писали о нашествии волков в Ленинградской области. Страх отступал, когда появлялись огни лагеря. Лаяли собаки. Их лай, мы считали, отпугивает волков. Обратном возвращались налегке. Уезжали с ночным поездом.

...Я уже в десятом классе. Весна. Отцу остался год до освобождения. Он работает без конвоя на берегу Ижоры, где в затоне ремонтируют катера. Мы приехали с мамой, сидим у реки на бревнах, обеденный перерыв.

– Леля у нас стала знаменитой, – говорит мама. – Написала сочинение «Образ Сталина в советской поэзии». Ее даже на радио пригласили выступить.

Да, такое было. Когда на школьной доске появились темы сочинений (по Тургеневу и Некрасову), подумала, что легче будет написать «свободную» о Сталине. В наших головах прочно засели стихи и песни о нем.

Не могла и представить, что станет происходить вокруг меня позже.

На контрольной по математике наш принципиальный Павел Львович подошел ко мне и быстро решил на промокашке задачку (из уважения).

Где только не заставляли выступать с текстом сочинения, даже на учительской конференции. Помню, проходила она в роскошном зале Юсуповского дворца.

– Расскажи, – просит мама, и я, встав, произношу уже наизусть текст доклада, «пересыпанный» стихами Джамбула, Стальского и других, типа:

*Спасибо Вам, что в дни великих бедствий
О всех о нас Вы думали в Кремле,
За то, что Вы повсюду с нами вместе,
За то, что Вы живёте на земле.*

Отец сидит на бревне, жуёт что-то. Молчит. О чем он тогда думал?

Прокручиваю все это. Не сплю.

А утром, на факультете, когда Роберт идет навстречу и машет мне – ночных мыслей как и не было...

Вечерами снова гуляем вместе до темноты. Умоляем вахтершу открыть двери. Клянемся исправиться. И снова бродим до звезд.

«В раздумье стоит на земле человек, и звезды на щеки ложатся, как снег», – читал Роберт все подряд, что успел узнать от учителя.

Почему-то тогда нам особенно нравилась поэма Смелякова «Любка».

*Посредине лета
высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
сядем на диван.
Вспомним, погорюем,
сядем, моя Люба,
Сядем, посмеемся,
Любка Фейгельман!*

Я тоже уже знала, подхватывала:

*Гражданин Вертинский
вертится. Спокойно*

*девочки танцуют
английский фокстрот.
Я не понимаю,
что это такое,
как это такое
за сердце берет?*

Нас за сердце брал поэт, который в то время в очередной раз «сидел». А стихи жили своей жизнью. – Нет, вот это послушай, – перебивал Роберт:

*И в кафе на Трубной
золотые трубы, –
только мы входили, –
обращались к нам:
«Здравствуйте,
пожалуйста,
заходите, Люба!
Оставайтесь с нами,
Любка Фейгельман!»*

...Невероятно удачным казалось сочетание: «Мне передавали,.. что с тобой гуляет розовый, бывалый, двадцатитрехлетний транспортный студент».

«Любка» – это поэма о первой любви. Брало за душу еще и то, что было не похоже на официальную поэзию типа Льва Безыменского, издававшегося огромными тиражами: «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян».

А Смеляков человеческим, не плакатным языком говорит о той же комсомолки с юмором и легкой «смеляковской» грустью.

Чужие стихи как попытка разгадать «этот волшебный порядок слов». Свои Роберт начнет писать совсем скоро. Там будет и про наши зимние прогулки:

*Помнишь:
снежная полночь.
Медленная дорога.
Холодно.
Кажется даже,
будто около –
полюс...
Город одноэтажный
дремлет в снегу по пояс.
Улицы неживые
сумрачны и тихи.
Помнишь,
тебе впервые
я прочитал стихи?
Снег летел и кружился.
Он тихо садился на ветви,
на застывшую землю,
на зябнущие дома...*

И дальше романтические строчки, может, и наивные, на одном дыхании:

*Я о ветре читал,
о весеннем,
ликующем ветре,
о звенящих ручьях,
о капелях,
сводящих с ума!
Снег садился и таял,
по капле стекая со щёк.
Я о счастье читал,
и дорога мне сказкой
казалась!*

*А оно, это счастье,
шло рядом и улыбалось.
И молчало.
И лишь иногда повторяло:
– Ещё.*

Вот такая любовь «на фоне страха, дождя и снега». От вечерних прогулок отвлекали тренировки по баскетболу.

– Не приходи, – просил Роберт, – будешь отвлекать.

Но я приходила, тихо сидела на низкой скамейке у стены и следила не за игрой, в которой не разбираюсь, а за ним, как он, высокий, плечистый, перемещается по площадке.

Подбегает разгоряченный, не отдышавшись еще, вытирает майкой пот с лица:

– Видала, как далеко бросил?

– Да, а какая атака красивая!

– Разумная, – поправляет Роберт. – Ходы просчитаны. – Может, за эту мудрость его и прозвали в команде «Батя». Смешно. Ему всего 18. А там и старшекурсники. Выходит, мудрым он был уже и тогда.

Уже Новый год – 1951-й! Бежим по морозу без пальто, как и остальные, чтоб не толкаться в раздевалке, от общежития до университета. Бабушкин «шедевр» дождался своего часа. В зале гремит музыка, карельская елка под потолок в огнях. Не успеваю опомниться, с кем-то кручусь в вальсе. Роберт стоит, подпирая колонну. Он тогда не любил танцевать или не умел? Стеснялся. Во время концерта предлагает сбежать, обещает сюрприз.

Знакомая дорога, но сейчас на ней светло от окон, где зажгли елки. Его дом номер семь по улице Ленина.

– Ни-за-что! – вырываюсь.

– А там будем только мы. Все уехали на три дня на дачу в военный городок.

Чтобы так совсем одни – мы еще не были. Нападает неловкость. Пытаемся преодолеть ее. Разглядываю квартиру. В узком коридоре стеллаж, на полках знакомая серия «Библиотека школьника» в мягком переплете. Занавеска из марли трогательно охраняет книги от пыли.

В спальне в изголовье двух деревянных кроватей висят в рамках портреты мамы Веры и полковника. Вроде и холст, и масло, но работа грубая, лица застывшие.

– Небось армейский художник с фотокарточек писал?

– Угадала, – отвечает Роберт.

Придет момент, когда скажу: «Может, снимем? Они на нас смотрят, я так не могу».

– Пусть смотрят, – ответит Роберт.

Первый день 1951 года. Мы не выходим из дома. Не отвечаем на звонки. Ошалели. Осмелели, но продолжаем смущаться. Выручают стихи. Под остатки шампанского Роберт читает, взяв напрокат у Роберта Бернса: «А грудь ее была кругла, как будто ранняя зима своим дыханием намела два этих маленьких холма».

Родители вернулись на день раньше. Солдат внес дорожные сумки. Вбежал Ивушка (сводный брат по отчиму Роберта). Немая сцена. Стройная, с волевым лицом Вера Павловна и коренастый румяный Иван Иванович. Вдруг Роберт без всякой дипломатии:

– Знакомьтесь, это Лена, мы любим друг друга. У нас все серьезно. Она переедет из общежития к нам.

– А что, Лена уже беременна? – спрашивает Вера Павловна звенящим голосом.

– Пока нет, – отвечает Роберт, усмехнувшись.

– Сын, почему так нагло! – восклицает она, не приняв юмора.

Ивушка во время разговора наблюдает за взрослыми. Вдруг, подбежав, прижимается ко мне. Молчим.

– Или я уйду в общежитие, – ставит ультиматум Роберт.

– Верочка, да пусть уж лучше здесь живут, – слышу голос полковника. – И мы, – предлагает он простодушно, – событие это отметим, к тому же Новый год!

Мама Вера промолчала... Так под защитой трех мужчин я осталась.

Мы уже не ищем укромных уголков, не застываем в объятиях как памятник в конце темного коридора общаги. В наших глазах читается: «Какое счастье, и ночь. И мы одни».

Диван был узким, даже когда снимали валики. За стенкой родители. То, что происходило между

нами, происходило тихо и неумело. Такой шумный медовый месяц. Засыпали под утро. Но тут приоткрывалась дверь:

– Рота, подъем! – бодро кричал полковник.

Подходила Вера Павловна:

– Сын, ты так крепко держишь свою половинку во сне. Боишься, исчезнет?

Роберт в ответ лишь протяжное: «М-а-м-а».

Ну а мне оставалось вздрагивать от каждой выпущенной стрелы. А стрел хватало.

Поход втроем в театр, тот самый, куда осенью отнесла косу. После спектакля сын ухаживает за мамой. Он подает ей шубу, нагнувшись, помогает надеть и застегнуть боты (носили такие фетровые на кнопках). Я не жду, быстро одеваюсь. Стою в стороне. Подумаешь, что мне трудно? А больно.

Как-то Иван Иванович простыл. Попросил меня почитать ему газету. Входит Вера Павловна.

– О! – восклицает. – Она пытается обаять всех мужчин нашей семьи!

Имела в виду Ивушку тоже, который уже без моей сказки не засыпал. Мама Вера говорила обо мне исключительно в третьем лице. Я ее почти ненавидела тогда. При этом каждую минуту готова была полюбить.

Может, зря оставила общагу? С этим что-то ушло. Знакомый стук в дверь, и сразу горящий толчок в сердце. Вокруг глаза девчонок. Смотрят понимающе.

А время летит. «...Ему не скажешь: послушай, не успеваю». Лекции, спортзал. К тому же не высыпаемся. Ходим затуманенные. Уже весна. И мой день рождения. Исполняется 19. Воскресенье. Сидим по-семейному, за столом почти идиллия, никаких «стрел». Нахваливаем жареного гуся, которого мама Вера приготовила по своему рецепту. Я расковыряюсь, смелею. И к слову вспоминаю историю про гуся. Это был пятый класс. Мой день рождения. Еще «карточки» тогда не отменили. Бабушка выстаивала возле булочной, чтобы что-то купить или обменять на продукты. Ей удалось добыть замороженного гуся. Сначала отнесли к нему подозрительно, но гусь оттаял и оказалось что надо! Из него сварили громадную кастрюлю кислых щей. И вот все сидим за столом, предвкушаем. Один из близнецов, тот, что на час старше, Вова, вызвался принести кастрюлю. Запнулся за порог, падая, выбросил руки вперед, и все содержимое с гусем прокатилось по паркету. Было смешно, но никто не смеялся.

Другой близнец, Юра, испугался, что Вову станут ругать (они всегда заступались друг за друга), успокаивал: «Ничего страшного, гуся вымыть можно и пожарить».

– Ну и как, пожарили? – спрашивает сквозь смех Вера Павловна. Какое у нее доброе лицо, когда смеется.

Потом был подарок, о котором тогда можно было только мечтать – лыжи из карельской березы, как у Роберта. Это была его идея. А Иван Иванович в республиканском ДОСААФе раздобыл.

– Надо бы на Анохина заглянуть, обещали, – напоминает Роберт.

– Нечего вам там лишний раз отсвечивать, – возражает Вера Павловна. – Вообще удивляюсь, как вас до сих пор на комсомольском собрании не пропесочили.

Началось! Хоть ничто не предвещало. Быстро собираю посуду, ухожу на кухню.

Тогда, в начале пятидесятых, не было понятия «гражданский брак». Считалось жутко аморальным поступком. Могли строго наказать по комсомольской линии. Тайно, конечно, имело место, но вот так в открытую... Разговор продолжается без меня, но я все слышу.

– Мама, перестань. Знают же, что мы скоро поженимся.

– С ума сошел! Впереди Москва, экзамены в Литинститут.

– Скажи, а что меняет один день скромной студенческой свадьбы? – спрашивает Роберт (свадьба с размахом считалась мещанством).

– Тут другое, – перебивает Вера Павловна, – пойми, ты уже не сможешь сделать карьеру, для тебя будут закрыты двери.

Она говорит громко, не пытаясь снизить голос. Вот оно что: «пятый пункт», – замираю – что скажет Роберт. А он: «Мама, да она русская». Для убедительности произносит: «Елена Николаевна Федорчук».

– Русская по отцу, а во всем мире национальность считается по матери. Анкету это не украсит. Думай, сын!

Мы были заняты друг другом, а мама Вера знала, что говорит! Антисемитизм в разгаре. Уже разогнан антифашистский комитет. Убит Михоэлс. Набирает обороты кампания против космополитов (крайними в ней окажутся почему-то евреи: ученые, врачи, писатели).

Ее я пойму много позже, пойму, что как мать она просто очень любила сына и боялась за него.

Но тогда мне хотелось разбить все, что бьется вокруг меня, и хлопнуть дверью. Храбрыми были только мысли.

Вошел Роберт:

– Все слышала! Лицо пылает, уши горят. А давай на лыжах махнем, опробуем подарок.

Снег осел от весеннего тепла. Кто-то до нас проложил лыжню. Она удобно скользит и уводит все дальше в лес. Сколько пробежали километров, не знаю, но я с непривычки выбилась из сил, обратно еле брела. Зато осадок от разговора про «пятый пункт» и карьеру оставили в лесу, решив: «А загсы есть и в других городах».

В том же марте происходит масштабное событие – выборы в Верховный Совет СССР. Голосуем, как и многие на курсе, впервые. Нас просят прийти на избирательный участок к открытию. Будут фотографировать и брать интервью. Помню снимок в газете: Роберт в центре и подпись: «Молодой поэт еще в школьные годы, оказавшись с родителями-военнослужащими после войны в Австрии, своими глазами увидел изнанку капиталистического общества».

И тут же его стихи:

«В старой доброй Вене нынче вальсы из моды вышли». Дальше про то, как профессор Штутгартской консерватории играет на скрипке вальсы Штрауса. Рядом табличка: «Ищу любую работу».

Стихи про Вену потом нигде не встречались. Первый курс позади. Долго со всеми прощаемся. Перед самым отъездом заходим в ту мою комнату на Анохина, с которой все начиналось.

– Не забывайте Петрозаводск.

– Конечно, нет! Теперь он наш навсегда.

– Ребята, что-то не поняла, – спохватилась Вера Ломоносов. – Вы разбегаетесь по разным городам?

– Мы еще вернемся вместе, – пообещал Роберт.

Что чувствует человек в 19 лет, когда его первая большая мечта сбывается? После экзаменов Роберт зачислен на первый курс Литературного института. Представляю, как погружен он в свою радость и в то, что обступило его. Не хочу тревожить своими проблемами, пока не справлюсь с ними сама. В Ленинградском университете никто меня не ждал. За год с факультета никто не отчислен. «Никто сам не ушел, – объясняют мне доходчиво. – Так что мест по-прежнему нет».

Отец уже, слава богу, дома. Устраивается на работу в конструкторское бюро Морского и речного флота, где потом будет участвовать в проекте быстроходных прогулочных судов на воздушных подушках.

– Да брось ты эту говорильню – филфак, – советует он. – Иди на ткацкое производство. Надежно, рабочий класс.

Бойтся за меня, уберечь хочет от идеологии.

Бывает, что авантурные планы рождаются от отчаяния. Узнаю телефон приемной министер-

ства высшей школы. С трудом дозваниваюсь. Говорю, что студентка, мне девятнадцать. Звоню из Ленинграда.

– В чем просьба?

– Хочу говорить только с министром.

– Так не положено, – сухо отвечает секретарша.

Продолжаю настаивать. И тут в трубке голос: «Слушаю! Что именно Лена Федорчук собирается мне сообщить?»

– Можно не по телефону. Мне необходимо видеть ваше лицо, когда я буду говорить. И чтобы вы видели меня, иначе вы меня не поймете.

Несу ахинею. Запуталась.

– Ну, хорошо, – соглашается министр. – Завтра к девяти успеете?

В приемной, судя по красным лампасам, собралось солидное общество (будут просить за своих чад, не набравших баллы).

Меня приглашают первой (вот что значит заинтриговать). Главное, не мямлить и не начинать с просьбы. Тороплюсь в отпущенные мне минуты вложить все: Петрозаводск. Первое чувство. Стихи. Прогоулки. Заканчиваю тем, что в его министерских руках судьба нашей с Робертом любви. Со стороны, может, выглядело нелепо и смешно, но уж точно нестандартно.

– Учиться-то вы будете все равно в разных городах, – перебивает.

– Не страшно. Это как испытание. – Тут же вспоминаю Льва Ошанина, популярного в то время. «Расставанья и встречи – две главные части, из которых когда-нибудь сложится счастье». Вижу, как он уже пишет на моих документах наискось размашисто: «Оформить переводом на второй курс филологического факультета ЛГУ». Когда родители спросят, что все-таки наговорила я такого, раз сумела добиться, повторить не смогла.

Первая аудитория, где проходят общие для нас и журналистов лекции. Из громадных ее окон видно, как течет и течет Нева. И Петр Первый на вздыбленном коне с противоположного берега простирает руку не куда-то вдаль, а на здание филфака, как мы считаем.

Пришло письмо от Роберта. И для нас началась новая жизнь от письма до письма. Его письма были подробными, иногда рифмованными. «Был в редакции «Крокодила», показал фельетон в стихах. Спрашивают: «Нам Гоголь и Щедрин нужны, а ваша-то как фамилия?» Советуют: «Писали бы басни: и нам, и вам безопасней!»

У меня так не получалось. Должна была засесть в «читалке», обложиться любимыми книжками. Может, шло от неуверенности? Вместо житей-

кого письма выходило романтическое послание на тему любви.

Это новое неизвестное нами ощущение ожидания писем Роберт позже передаст в поэме:

*...весна...
А если к весне
прибавить письмо,
а если в письме написать:
«твоя»,
то кто б из вас выдержать это смог?
Не выдержал это
и я.
И вот – вагон!
Летающая тьма.
Бессонная ночь,
перестук колёс.
Полсуток дороги –
и ты сама,
почти задохнувшаяся от слёз,
от майского ветра...*

Мама Вера, довольная тем, что мы разъехались по разным городам, такого поворота не учла.

В первые ноябрьские праздники Роберт приехал в Ленинград не один, а с двумя новыми друзьями по институту Володи Соколовым и Володи Гнеушевым. «Могучая кучка», как они себя в шутку называли. Оба Володи были старше. А он любил дружить с теми, кто старше.

«С дороги, да еще студенты, голодные. Надо накормить», – хлопотала бабушка, ну а потом начались стихи. Помню, как близнецов отсылали погулять на улицу, чтоб не мешались.

– Может, уйти нам тоже? – тихо спросила мама.
– Вы тут сами...

Гнеушев услышал:

– Ни в коем случае, аудитория поэтам необходима!

Все усаживаются. Близнецы (им уже по 11) занимают места за креслами, на диване, как в театре. Наибольший успех достается Соколову. Он прочел свое коронное тогда, «Снежную королеву»:

*С первой парты девочка,
Как тебя забуду?
Что бы ты ни делала,
Становилось чудом.
.....
Ты бежишь. И лестница
Отвечает пенъем,
Будто мчишь по клавишам,
А не по ступеням.*

Чистые хрустальные строчки. И сам он похож на свои стихи. Лицо еще без следов жизненных передряг. Прядь волос падала на лоб. Он откидывал ее, продолжая читать:

*И бежишь ты в прошлое,
Не простясь со мною,
Королева снежная,
Сердце ледяное...*

У Гнеушева внешность суровая. Тематика – морская. До Литинститута успел пройти службу на Балтике. Читает о морском походе, и даже лицо кажется обветренным. Запомнились строки, они повторялись как рефрен: Нева, «на гранитных ее парапетах мы прочли: «Якорей не бросать!» Позже так будет названа его первая книжка. Два Володи освоились. Готовы читать и дальше под домашние аплодисменты.

А Роберт скован. Родители мои с любопытством поглядывают на него. Интересно же, в кого так беззаветно влюбилась Леля (домашнее имя). Первую поэму ему еще предстояло написать, но были заготовки к ней. Он зачем-то даже встал. Любимый жест – провел ладонью по волосам.

*Сердце, а что я знаю?
Ты подскажи мне тихо.
Знаю, что на Алтае
было село Косиха.
Было село –
я знаю –
крошечного значенья...
В речке вода парная
после грозы вечерней...*

*Сердце,
но это ж мало!
Это же очень мало!
Возле глухой ограды
чуть шелестит отава...
Сердце,
а может, правда,
я не имею права?*

Сомнения, заложенные в строчках, звучали так искренне, что один из близнецов не выдержал: «Конечно, пиши, не бойся!» И все засмеялись.

С погодой в тот ноябрьский приезд им не повезло. Бывают такие свинцовые дни в Питере. Ветер гонит волну в каналах, треплет красные полотнища флагов.

– А красное к лицу серому, – заметил Гнеушев.
– Здесь встречаются и другие погоды – замечательные, – говорю в защиту своего города.

Но как назло налетает то ли снег, то ли дождь, косо бьет в лицо.

– Давай-ка лучше приезжай в Белокаменную, – позвал Роберт.

Мы жили тогда между двумя вокзалами: то я провожала, то он встречал:

*Сквозные вокзалы
и запахи дыма,
гудков паровозных протяжная медь,
слова,
что я говорил любимой,
мне приказали
сметь.*

(Тоже один из подступов к поэме.)

Квартира Володи Соколова. Узкая улица рядом с ГУМом. Центр старой Москвы. А еще центр притяжения для тех, кто учится в Литинституте. Володя жил с мамой, младшей сестрой Маринкой. Жили бедно, как большинство. Стихи и споры о них велись под чай с сухками и подушечками. Не забыла их вкус с кислинкой. Вошедшего, если он еще и с вином, встречали радостно. Заглядывали и те, кто на поколение старше. Отношение к ним было особое. Их стихам верили. Может, поэтому и запоминались с ходу строки:

«Но лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой». (Михаил Луконин)

«Мы не от старости умрем – от старых ран умрем, так разливай по кружкам ром, трофейный рыжий ром». (Семен Гудзенко)

Гриша Поженян был из их числа. Фронтовик. А еще и моряк-десантник. Крепко сбитый. Тельняшка, усы. Впечатляло. Его встретили возгласом.

– Кто пришел! Сам «Впередсмотрящий» Поженян.

Под таким названием вышла его поэма. Была легенда (не знаю, насколько верна), что Поженян не очень трезвый прорывался в Кремль, хотел лично прочесть вождю написанное... В поздних стихах о своей судьбе вспомнит: «То за горькую правду выпорют, то за самую малость малую вдруг поглядят рукой беспалую».

Он был окружен легендами. Дважды исключали из института за смелость. В разгар борьбы с «космополитами» его попросили выступить на собрании против известного поэта Павла Антальского, который тогда преподавал в институте. Поженян надел свои ордена и медали. Пришел и защитил учителя, директор института был в ярости: «Вон, чтоб ноги твоей не было!» Кто ви-

дел, рассказывали, как при этих словах Гриша сделал стойку и вышел на руках.

...Отмечали день рождения Володи Соколова. Неожиданно, а может, был приглашен, пришел Михаил Светлов. Для тех, кто собрался, он был в то время преподавателем Литинститута. Я же смотрела во все глаза: неужели тот самый автор «Гренады», живьем, комсомольский поэт, кумир прошлых лет? Сколько ему? Должно быть, не больше пятидесяти. Выглядел старше. Волнами на лице залегли морщины. Знаменитая трубка. Пиджак припорошен пеплом. Он шутил мягко, как бы творил по ходу дела. Много позже не раз слышала эти его выпущенные на волю шутки, ставшие афоризмами. К примеру, перед кассой за зарплатой:

– Давно не видел денег. Пришел посмотреть, как они выглядят, – произносит кто-то, не ведая, что автор – Светлов.

Запомнился поход в ресторан «Арагви». Скромно скинувшись, заказываем бутылку «Цинандали». Сидим на мягких диванах. Изображаем ресторанных завсегдатаев. В центре, конечно, Евтушенко, самый тогда молодой член Союза писателей:

*Мне мало всех щедростей мира.
Мне мало и ночи, и дня.
Меня ненасытность вскормила,
И жажда вспоила меня.*

Никому тогда не известные поэты-первокурсники читали свое, что привезли в Москву. Голоса звучали застенчиво, заносчиво, по-разному, оглашая своды грузинского подвала. «Старик, ты гений!» – повторялось часто, пусть авансом, но необходимое каждому.

Был, оказывается, и другой подвал в «Арагви», о котором мы ничего не знали. Под каждым столиком находился шнур со спрятанным микрофоном, а внизу крутились записывающие устройства. На каждом – номер столика. Об этом узнаю спустя десятилетия, прочитав «Подстрочник» Лунгиной. Замечательная честная книга, дождавшаяся своего времени, чтоб быть напечатанной. Сейчас вспоминаю: был ли криминал в том, что мы читали тогда в пятьдесят втором? Вроде нет, иначе бы... Хотя читали того же запрещенного Мандельштама. Читали безобидное, подходящее к моменту:

*Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...*

Распаляясь от чтения, заказываем «Хванчкару» и сациви на закуску.

От соседнего столика подходит, скрипя ремня-ми, военный:

– Прекратите спаивать девушку! (Ему так при-виделось.)

Компания мужская, только я пришла с Робер-том. Сижу молча. Гладкие волосы схвачены сзади реповым бантом, школьного фасона платье, во-ротник – стойка из кружев. Никак не выйти из об-раза бунинской гимназистки.

– Сделай другое лицо.

– Расслабься.

– Сними комсомольский значок, – советует компания.

Огромный плакат при входе: «Выставка подар-ков товарищу Сталину к семидесятилетию со дня его рождения». Дата прошла раньше, но выстав-ка оставалась. В пятьдесят первом мы ее застали и посетили. Она в Музее изобразительных искус-ств имени Пушкина! Как потом станет известно, по личному указанию вождя в подвал спустили полотно западного искусства, вредно влияющие на советских людей. И вот там, где висели карти-ны Ренуара, Гогена, теперь со стен смотрели портреты вождя, вытканые на ковре, расшитые бисером, выложенные мозаикой, янтарем. Были и мрачные по своей жертвенности подарки: чер-но-серый ковер из чьих-то собственных волос или полотно, вышитое ногами безрукой девочки. А рядом макеты Кремля из серебра и мрамора, шахматы из золота.

Люди тихо переходили из зала в зал. И так же ти-хо восхищались подарками. Выставку закроют в пятьдесят третьем. Интересно, куда все это дели?

Когда я приезжала, Роберт уходил из общежи-тия. Нашим пристанищем становилась комната в коммуналке на Большой Бронной, где жила тетя Аня, сестра отчима. И опять нас преследовал уз-кий диван с валиками. К тому же короткий. Чтобы вытянуть ноги, Роберту приходилось подставлять легкий венский стул. Но зато с Большой Бронной можно было утром за несколько минут выйти дво-рами на Тверской бульвар прямо к Литинституту. Тетя Аня уходила рано. Щелкал дверной замок, мы ждали этого момента.

В один из моих приездов, не уведомив никого из родителей, мы расписались в переделкинском загсе. Помню, шли туда пешком. Пастух гнал ста-до. Рядом Москва, а здесь деревня. Входим, ра-ботница загса: «Давненько, Роберт Иванович, вы к нам не заглядывали!»

«Ничего себе, – думаю, – приветствие».

Оказывается, студенты из Литинститута шефствовали над загсом. Читали там стихи.

Ночь в ветхом деревянном доме в Переделки-но. Комната на втором этаже. Вровень с окном сосны. А дверь не закрывается.

– Брошу матрац перед порогом и лягу как соба-ка, стану сторожить, – предлагает один из дру-зей-сокурсников Володя Морозов.

Целую вечность назад это было. Осталось в строчках.

*Хочешь, я опять тебе напомню
прошлую, особенную осень?*

*Хочешь, эту комнату наполню
терпким запахом гудящих сосен?*

Все шло по-прежнему. Мы вроде уже семья, но те же вокзалы и письма.

Привыкли, находим даже плюсы: встречи как праздники, никакого быта.

Вскоре после регистрации состоялся визит его родителей к моим. Близнецам вручили два туль-ских пряника в виде зверушек.

– Мы что, маленькие, – удивились те, но, усмех-нувшись, съели.

– Я бы мог оплачивать жилье в Москве, пока учатся, – предложил Иван Иванович.

Вера Павловна одарила его взглядом:

– Представляю какие гулянки-посиделки там начнутся.

– Уж пусть остается как есть. Никакого переез-да в Москву.

– Разлука укрепляет чувства, – вставила мама.

– Рада, что мы нашли общий язык, – сказала Вера Павловна.

Роберт позже позвонит, спросит:

– Ну что там большой совет в Филях решил?

Почему мы сами вели себя так пассивно? Не знаю.

Снова приехали все той же «могучей кучкой». Хотелось чем-то удивить: раскопала редкую фо-тографию Маяковского, где он совсем молодой. Муж моей школьной подруги Петр, студент Ака-демии художеств, сделал штрихованный каран-дашный портрет. Я поместила рисунок в старую с позолотой раму, повесила над своим еще школьным письменным столом. Реакция была, как и ожидала:

– Откуда? Кто написал?

– Нравится?

– Здорово!

– Подарок тебе.

– Спасибо. Пусть повисит пока тут.

– Роб, а теперь тут все твое, – подкалывают его оба Володи. – И кошка, прикорнувшая в кресле, и эти книги.

Да, полки в нише стены – моя гордость. Получив крещение стихами в Петрозаводске, стала собирать их. Всякий раз со стипендии, хоть и маленькая, хоть и деньги надо было приносить в дом, прикупала их. Из-под полы, конечно. Это была та же фарца, только книжная. На левой стороне Невского, если идти от Дворцовой площади, был книжный развал. Спросишь тихо – тебе так же тихо ответят: «Приходите, будет».

Гнеушев подошел к полкам. Открыл наугад, грубая серая бумага:

– «Пей, товарищ Орлов, председатель Чека. Пусть нахмурилось небо, тревогу тая, – эти звезды разбиты ударом штыка, эта ночь беспощадна, как подпись твоя». Кто?

– Михаил Голодный, – угадываем.

– «А дома ждет жена. Кашу с воблой приготовила она».

– С воблой?

– Ну да, тридцать второй год, голод был. Мама тогда практику проходила на Волге, рассказывала, воблу соленую по карточкам выдавали.

Как возник в нашей жизни редактор «Детгиза» Григорий Павлович Гроденский, не вспомню. Но уже не один приезд «могучей кучки» в Ленинград не обошелся без визита к Григору, как мы его называли. Он жил в коммуналке на пятом этаже старого дома на Садовой. Перегороженная книжными шкафами комната старого холостяка. В шкафах, если покопаться (он разрешал), ждало немало такого, о чем ни на каком филфаке в ту пору не расскажут. Так узнаем о Борисе Корнилове, биография которого была тайной. (Будто пришел ниоткуда и ушел в никуда.) Оказывается, в двадцать шестом он приехал в Ленинград из деревни с тетрадкой стихов, чтобы найти Есенина, но уже не застал. Остался в городе. В тридцать втором с писательской бригадой едет в Азербайджан. Вот откуда «качка» на Азовском море. Открытием стало для нас, что слова «Песни о встречном» его тоже:

Нас утро встречает прохладой.

Нас ветром встречает река.

Кудрявая, что ж ты не рада

Веселому пенью гудка.

Считалось, поэт затерялся где-то в лагерях, а оказывается, уже в тридцать восьмом был расстрелян. А страна все пела его песню, не называя автора стихов.

Чувствую, перебор с лагерной темой выходит. А куда денешься? Как позже напишет Александр Галич: «Это время в нас ввинчено штопором».

Мы умудрялись помещаться за круглым столиком. Появлялась вишневая наливка (любимый напиток Григору), и... начинались стихи. Кстати, о вишневке. Григорий Павлович получает из Москвы телеграмму: «Встречайте Вишневской М.К.» (могучая кучка). Звонит мне:

– Как ты думаешь, что бы это значило?

– У меня такая же, – отвечаю. – Может, с ними едет дочь драматурга Вишневского?

– Ну, нет уж, – расстроился Григор. – Моя берлога к такому приему не готова.

На телеграфе перепутали буквы, было «встречайте вишнежкой».

Телеграммы (дальние родственники нынешних эсэмэсок) посылать любили. В них, как бы сейчас сказали, «от души прикалывались».

«Кутай горло и не пей этиловый спирт», «Белая ночь видит все», «Грызем рельсы Москва – Ленинград». Последняя означала на студенческом языке: «хотим приехать, но нет денег». В то время так шутить было небезопасно. Как напишет в своих воспоминаниях академик Лихачев, за одну из подобных телеграмм в юности он угодил на пять лет на Соловки. В институте у них был кружок. Собирались. Спорили о науке. Мечтали о будущем. Называли себя Академией. Один из участников прислал телеграмму: «Папа Римский поздравляет Академию с юбилеем».

Как вспоминал Лихачев, следовательно всерьез его и остальных участников кружка спрашивал: «Какое отношение вы имеете к Папе Римскому?» Так что нас бог миловал.

У Гнеушева появилась спутница – Лида, бесспорно красивая, она заявила: «Мальчики, ну хватит стихов. Танцы!» Территория для вальса не годилась. Мы топтались на месте. И эти объятия под мелодии старых пластинок и выпитую вишневку кружили нам головы. Утесов, Шульженко, Бернес договаривали за нас то, о чем мы молчали.

Гнеушев был старше, опытнее в отношениях: «Так не годится. Перебор восторга и послушания», – поучал он меня. Его, похоже, даже раздражало.

– Ну что вы как голуби? Поссорились бы, что ли? – подначивал.

Если Роберт приезжал один – был поход в театр. Что шло тогда, в самом начале пятидесятых? Классика в основном. Смотрели «Дворянское гнездо» в Пушкинском. На Невском, рядом с «Елисейским», в театре комедии блистал известный художник и режиссер Акимов. Театралы так и говорили: «Иду на Акимова». В

музкомедии Легар и Штраус в репертуаре отсутствовали (считалось буржуазным искусством), но звучала замечательная музыка Исаака Дунаевского.

С театром получалось, как со стихами. Без меры жадно. Как-то Роберт приехал на один день, и мы умудрились побывать на двух спектаклях: дневном и вечернем. Билеты, вернее контрамарки на откидные места, доставала мамина подруга Юлия Моисеевна. Ее муж Родин много лет работал бессменным директором Пушкинского театра.

Юлия Моисеевна говорила о Роберте:

– Этого юношу я не видела еще, но заранее люблю его за то, что он в любую минуту готов пойти в театр.

На зимние каникулы поехали в Петрозаводск. Вера Павловна воспринимает меня спокойно, как неизбежность (я уже Рождественская). Все так же требует сказку перед сном подросший Ивушка.

А Роберт теперь, когда все засыпают, подолгу сидит на маленькой кухне, пишет... ту первую поэму «Моя любовь». В окно дуло, приходил замерзший, читал:

*Я ею бредил по ночам,
берег ее, как жизнь.
Я на руках её качал
и повторял:
– Пишись!
Пишись! –
я требовал,
но мне
ответил ворох строк:
– Постой!
А был ли ты в огне?
Месил ли
пыль дорог?*

Тут вдруг вошел довольный. Потирает руки:
– Ну что, героиня, не спишь? Какой тебя сделать?

На этот раз, как ни уговаривала, читать не стал. Только позже поняла почему, когда в Ленинграде у Григро услышу:

*Мою фигуру окинув косо,
откуда-то сбоку выплыла дама.
И я, как сквозь сон, услышал:
– Знакомься!
Это мама...*

*И мама, довольную мину сделав,
руку протягивая,*

*загудела,
что очень приятно,
что очень ждали,
что очень тронуты
и так далее...*

*...Спрашивает мама
об одном и том же.
Говорит,
что прямо
я ответить должен.
Требует ответа,
радость излучая:
– Правда,
что поэты
много получают? –
Я молчу вначале,
недоумевая,
и, пожав плечами,
говорю:
– Бывает...*

Григро хохочет: «Ну, Роб, ну ты даешь, жми дальше».

*А дальше –
тосты и слова,
понятные немногим.
А дальше –
у стола едва
не подгибались ноги...*

*А рядом –
по виду неделю не спавший,
водицы болотной тише –
минут через десять
лежал папаша,
изрядненько днем хвативший.
Он мирно похрапывал в такт речам,
а кроме,
несколько раз,
когда тормозили,
«ура»
кричал,
не открывая глаз.
Потом он встал,
поплыл к окну
и, сдержанно икнув,
стал открывать с опаскою
«Советское шампанское».*

Ну а дальше бой мещанству, с напором, на который способен был молодой Роберт:

Я поднимаюсь с места
и предлагаю выпить:
– За жизнь! –
А тетка подсказывает:
– За совместную...

Но жить не хочу,
о покое мечтая,
жить,
накапливая добро,
жить,
пределом счастья считая
столовое серебро,
буфет,
до краев набитый посудой,
нервно звенящей на каждом шагу...
Родная,
слышишь?
Уйдем отсюда!
Уйдем!
Я здесь дышать
не могу!
Я тебе напомню про рассветы
и про то,
как писем ты ждала...

Всё было так густо замешено: и лирика, и сатира. Лирика писалась раньше. Позже найден был удачный ход: среда, из которой вышла героиня, – мещанская. Но юмор, пафос – всё подкупало бесспорной искренностью. Роберт закончил читать. Покосился на меня. Ссутулился, будто ждал удара. Григро, встав, торжественно (в руках рюмка с той же «вишневкой») произнес:

– Поздравляю! Сейчас среди нас родился поэт Роберт Рождественский!

Так оно и было. Еще не напечатанная, поэма разошлась.

Помню, в нашей главной аудитории, где были сдвинуты ряды стульев для танцев, Роберт прочел поэму не со сцены. Все его обступили. Успех был бешеный.

Отпечатанная на машинке поэма ходила по рукам. Меня распирало – показать родителям. Что и сделала на свою голову.

– Да как он посмел! Это же ложь! Такого не было. – С какими глазами после этого появится тут!

Как могла, успокаивала, объясняя:

– Это художественное произведение. Любви- ная лирика – одно, а поэме нужен конфликт. Интрига.

«Закон жанра – да что ты нам, филолог, тут лекцию читаешь! Он опозорил твоих родителей!»

Снова объясняла на примерах литературы.

Не помогло. Обиделись. Навсегда.

Но если честно, то я тоже чувствовала себя как-то неуютно, когда в первый раз у Григро услышала текст полностью. Понимала родителей, воспринявших стихи буквально. И это про них, которые столько хлебнули от времени, не согнулись, умели держать удар, оставались несокрушимыми оптимистами. Жили от зарплаты до зарплаты. Ходили на физкультурные парады и пели песни Дунаевского. А тут какие-то тихие мещане, которых «не трогает судьба страны».

Все-таки должен был быть толчок, который запустил воображение, подпитал в деталях. Для себя поняла, но чтобы объяснить – короткий экскурс в прошлое.

До революции бабушка не только шила на французскую фирму, но и была личной портнихой жены одного известного фабриканта в Петербурге. Когда тот в спешке в семнадцатом году убежал, жена его продала за символическую плату, а что и просто подарила (с собой не увезешь) мебель, картины, посуду... Так предметы чужой богатой жизни перекочевали в дом петровской застройки на 3-ю Красноармейскую улицу. Старина начиналась сразу за дверью: вешалка красного дерева с бронзовыми крюками, старинным зеркалом. Слева громадный, с кованым железом сундук, дразнивший воображение: что внутри? (Володя Гнеушев пытался однажды на нем спать, но крышка сундука была немножко выпуклой.) В столовой дубовый стол, вокруг него стулья с высокими спинками и поблескивающими маленькими львиными пастями, сверкающими позолотой. Во главе стола резное, ручной работы, кресло (точно такое позже видела в Петровском зале Эрмитажа). В углу иконостас – буфет с ручной резьбой по дереву.

На стенах хорошие копии в старинных рамках. Айвазовский, Поленов. Висели ещё, помню, на стенах тарелки Ломоносовского фарфорового завода с портретами царей.

Роберт в первый приезд не оглядывался, а, бычившись, испуганно озирался, преодолевая пролетарский гнев. Самое сильное впечатление – первое. И тема возникла: «Бой мещанству», актуальная по тем временам тема, которая еще долго будет звучать в литературе в ее советском понимании. Парадокс заключался в том, что семья наша жила совсем бедно. Отец сидел, воевал и снова сидел. Маму то увольняли, то снова принимали. С той стариной, которая досталась бабушке от фабриканта, расставались, относя в «комиссионку», похожую на «скупку» по ценам.

Тем и держались. Незаметно «комиссионка» на проспекте Сталина (позже Московском) поглотила почти все. Как пришло по случаю, так и ушло, тоже благодаря ему же.

Роберт и не ведал, что перед его приездом всякий раз я отправлялась в ломбард – заложить очередную статуэтку типа... купидон со стрелами или бронзовые подсвечники. Хотелось встретить хлебосольно.

– Зачем пыль-то пускать в глаза? – говорили дома.

Но я настаивала.

О, этот старый, еще дореволюционный ломбард на Владимирском. Кому незнаком он был в те годы? Да и позже... Длинные очереди. Воздух пропитан нафталином. Люди перебегают из одной кладовой в другую, спрашивая: «Где больше дают?» (в смысле – оценивают). На пятом. Но как добраться туда без лифта? Кто-то молодой, через три ступеньки пробегая, бросает:

– Привет внукам Федора Михайловича!

Очередь оживает:

– С утра, что ли, такой веселый?

– Да нет, он имеет в виду Достоевского Федора Михайловича, – поясняет кто-то. – Писатель жил неподалеку. И как зима кончалась, закладывал здесь шубу.

Не так много отпущено было судьбой быть нам вместе – оттого и запомнились подробности встреч. Память выхватывает забавный случай. Проходили мимо молодежной газеты «Смена». На стене под стеклом свежий номер, а в нем стихи (в те годы в газетах стихи помещали часто). Автор – патриот-графоман.

– Как можно такое печатать? – возмущается Гнеушев.

Роберт тут же достает блокнот, набрасывает пародию. Начинаясь она, помню, строчкой «Парторг, стальную бровь нахмурив...». Они остаются ждать. Я иду к литконсультанту «Смены». Говорю:

– Мой друг Вася служит на границе. Вот, прочтите, он тут кое-что прислал.

Пробегают текст:

– Скажите вашему Васе, пусть лучше зорко службу несет.

– А в последнем номере вашей газеты ничуть не лучше, – возражаю.

Такому моему нахальству удивлен, но тут же нашелся:

– А зачем на худших-то равняться?

Выхожу, передаю в лицах. Роберт сквозь смех:

– Дельный совет – будем равняться на лучших.

И звучит, конечно, его любимый Маяковский:

*Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму –
одну
или вдвоем с Парижем.*

Маяковский с его рубленой строкой жил в нем потом долго, пожалуй, всегда... Шатаемся по улицам без цели. Придумываем игру: там, где проходим – вспоминаем одну, две строки:

– «А над Невой посольства полумира, Адмиралтейство. Солнце. Тишина».

– Мандельштам.

Через площадь Островского выходим на Росси – единственную в мире, неповторимую по своей симметрии улицу.

– «Почему, уважаемый зодчий, Ваша улица так коротка?»

Уставились:

– А это откуда?

– Сама не знаю. От кого-то слышала.

Просят:

– Напрягись, вспомни, что там дальше.

Наткнусь на эти стихи Елены Рывиной много позже, но только некому будет сказать – послушай. А вот и дальше:

*Огонек твоей папиросы
то погаснет, то снова горит.
Мы проходим по улице Росси,
Где напрасно горят фонари.
Наша редкая встреча короче
Шага, мига, дыханья, глотка.
Почему, уважаемый зодчий,
Ваша улица так коротка?*

Роберт уехал на практику в какую-то сибирскую газету. Я – вожатой в пионерский лагерь под Ленинградом, в Сиверскую (тоже вроде практики – педагогической). Договорились встретиться в конце августа. Помню, с помощью Григоро приглашаю на пионерский костер писателя Лео-

нида Борисова (того самого, что написал «Волшебник из Гель-Гью»). Мы встречаем его на станции с цветами. Легкий, как лист, он возникает словно из небытия. В пустой столовой кормлю его пионерским обедом. Писатель вроде без зубов, но нашим котлетам наполовину с хлебом они и не требуются. А вечером у костра он читает наизусть свои удивительные рассказы. Как слушали! Это было ему наградой! Директриса осторожная, какой и положено было быть тогда, спросила:

– Где ты его раскопала? Он хоть член Союза писателей?

У меня был четвертый отряд – мальчишки десяти-двенадцати лет. Самое то – худющие, любопытные. Прочла им «Лесную газету» Виталия Бианки. Договорились (втайне от всех) увидеть, как просыпается лес. Записать наблюдения. Сделать рисунки. Мы тогда промочили ноги от росы. Опоздали на зарядку. Инициатива была наказана. На эти мои педагогические начинания смотрела глазами Роберта, знала – оценит. В деревне, что рядом, сняла комнату, ждала его, он не ехал.

Вечерняя линейка. Мои мальчишки в пилотках, красных галстуках. Я – тоже. Поём отрядную, под которую легче шагается:

*Эх, Ладога, родная Ладога!
Метель и шторм и грозная волна.
Недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа!*

(Святая песня блокадных лет.)

В толпе родителей, приехавших на прощальный вечер, вижу Роберта. Прислонился к сосне. Потом скажет:

– Ну, знаешь, в таком образе тебя еще не видел!

– И как образ? – спрошу.

– Светлый, вышибает слезу, – ответит. – Можно заново влюбиться.

Меня отпускают. Стемнело. Идем в деревню. Хозяйка, завидев нас, ахнула:

– Не ждала уж. На сеновале заночуете?

Сеновал нас вдохновил. Поднимались по шаткой лестнице. Сено повсюду. Им набит матрац, подушки. Оно хрустело, запах заставлял чихать.

– Лето в сухом виде, – шутил Роберт.

Свет пробивался сквозь маленькое окно.

– Как-то тут несерьезно устроено. Вниз не полетим?

– А мы будем осторожны.

Внизу вздыхала корова.

До первого сентября оставалась неделя. И вода в речке была ещё тёплой. Комната оказалась не хуже сеновала, только в ней уже пахло яблоками.

Хозяйка подоила корову. Привычно у своих мисок дежурят кот и собака. И мы стоим тут же. В руках поблескивают чистые банки, снятые с плетня. Чем были те несколько дней? Теперь знаю: прощанием. Если так не думать, то счастьем.

– Схожу на станцию, позвоню в Москву, – говорит Роберт.

Улавливаю: хочет пойти один. Вернулся – в мыслях он уже там:

– В общаге полный сбор, не хватает меня.

Помню, как перед самым отъездом каждого в свой замечательный город пошли на речку. На берегу сидела девочка из местных лет семи, плела венки и пела:

*Всё васильки, васильки,
Много их выросло в поле,
Помню у самой речки
Мы собирали для Лёли.*

Увидела нас, не смутилась и продолжала, это была не песня, а такой послевоенный фольклор. Жалобно так, тоненьким голоском:

*Лёля сидела, плела
Синий венок васильковый.
Милый смотрел ей в глаза.
У Лёли был взгляд невесёлый.*

– Ну что, Лёля? – Роберт обнял. – Не печалься и не хмурь бровей.

– Ничего себе, – говорю. – Это же из предсмертной записки Есенина!

– Жаль, что тебя не было, – встречают меня на курсе.

Я опять пропустила незабываемое – студенческий отряд, куда входили будущие филологи, журналисты, философы и историки, строил в колхозе свинарник, а привезли новые стихи и песни, и перелюбливались за лето. Мои подруги Ира Мейнерт и Зина Мурзо, похожие не внешне, а тем, что не исправимо доверчивы и восторженны, берут с меня слово, что будущим летом точно поеду.

А наша переписка с Робертом буксует, хотя о чём писать, если расстались недавно – успокаиваю себя. Но совсем недавно было иначе. «Стрела» уходила ночью, и он сразу начинал писать, чтобы опустить конверт в почтовый ящик на Ленинградском вокзале. О чём? Да так, всякие дорогие впечатления, типа:

*За окном проносятся станции.
И в морозную полночь ныряют.*

А тут молчит. Через месяц получаю зарплату (громко сказано), скромное вознаграждение за работу пионервожатой. Иду по Невскому, по той его стороне, где ещё с блокады осталась надпись: «Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна». Останавливаюсь на минуту перед витриной ателье мод «Смерть мужьям» (так прозвали за цены). Съедаю пирожное в «Севере». Пытаюсь устроить себе мелкий праздник. Не получается. Знакомая «Фотография». Надо же, сколько раз менялась витрина, а она всё висит: счастливое лицо на коричневом фоне. Тут нужна подробность. Вместо лекции возникло «окно». Мы с Зиной Мурзо пошли в кинотеатр «Баррикада». Внезапно облава. Так было: прекращали сеанс, зажигался свет. Проверяли документы, ловили тунеядцев. Днём советские люди должны работать или учиться! Нам удалось убежать (ещё не вошли, только билеты успели купить). А день был на редкость солнечный, хоть и осень. У Елисеевского гастронома снова опасность. Навстречу двигался патруль с красными повязками на рукавах – бригадмилыцы. Спасаясь, нырнули в «Фотографию», три ступеньки вниз.

– Желаете сняться, барышни? – спрашивает фотограф, по виду с дореволюционным стажем. Он был мастер, конечно, – чтобы так снять! Видимо, сам оценил свою работу – держал в витрине долго.

Двигаюсь дальше. Притягивает магнитом Московский вокзал. Уже знаю – уеду: пусть дневным, какой будет, всего на один день. Звоню из автомашины, чтоб не волновались. Покупаю зубную щётку и зубной порошок (пасты ещё не было). И вот без телеграммы (такое было впервые) появляюсь в Литинституте. Закончились лекции, толпа спускается по широкой лестнице. Роберта держит под руку девушка, в ней всё ярко и выпукло.

Господи, кто это? И тут память подсказывает. Вечер в Литинституте (как раз на следующий день после загса). Она подходит в рискованном декольте (рискованном, потому как постановление было о запрете носить декольте) с папироской:

– Ну что, Роб, говорят, ты женился. Можно поздравить? – и красиво кольцами пускает дым ему в лицо.

Конечно же, это она так крепко держит под руку, слишком крепко, ну просто прижалась. Роберт увидел меня, подбежал:

– Что-то случилось?

– Нет, – отвечаю. – Приехала просто на один день.

Слышу, как дурачки шумит лестница, с любопытством смотрит на нас.

– Давай сходим куда-нибудь поесть? – предлагает он.

Сидим неподалёку от института в шашлычной под названием «Айсберг», обжигаемся горячими чебуреками.

– Ну что, – спрашиваю. – «Знойная женщина – мечта поэта»?

Он не отшучивается, а вполне серьёзно предлагает:

– Может, уедем?

– Куда? Зачем?

– В Таганрог, например. У отчима там квартира пустует. А что? Переведусь на заочное. Стану работать и приезжать на сессии, так многие делают, у кого семья.

– Чушь всё это, – отвечаю упавшим голосом.

– Там Чехов жил. А Петр Первый, между прочим, хотел сделать из Таганрога вторую столицу на юге. Не знала такого?

Добрый Роберт пытался что-то спасти, кроме писем и коротких встреч, каждый из нас проживал ещё и отдельную жизнь. Она отнимала нас друг от друга.

Писем снова нет, но упрямо хожу на университетскую почту, рядом с главным зданием на Менделеевской. Выстаиваю очередь «до востребования». Протягиваю студенческий и замираю. Руки девушки ловко перебирают конверты, но мне кажется – она невнимательна и может пропустить. Две длинных недели: туда лечу, обратно плетусь. Дождалась! Увесистый конверт падает на стойку. Нахожу глухую, спрятанную в кустах скамейку.

...Делаю попытку через уйму лет вспомнить:

...Почему ты не пишешь писем.

Почему ты молчишь, скажи?

.....

Может, люди очень хорошие

Помогли об этом забыть,

Может, прошлое только прошлым,

Полустершимся входит в быт.

Ты прости, но в мысли ко мне

Часто лезет такая чушь,

Я не очень-то верю в это,

В это верить я не хочу.

Может, осень во всем виновата?

Если так – то это пройдёт.

Облака, как лохмотья ваты

В сером небе ветер метёт.

Лес, похожий на шубу лисью,

*Встал стеной с четырёх сторон.
Осень с веток срывает листья,
Устилая землю ковром.*

Выходит, он сам ждёт письма, а я себе напридумывала....

*Напиши мне письмо простое
Про обыденные дела,
.....
Как Нева, встречая рассветы,
Напевает песню свою,
Про знакомые белые ночи,
Те, что здорово хороши,
Напиши обо всём, что хочешь,
Всё, что думаешь, напиши.
Напиши, и письмо простое
О тебе расскажет само.
Правда, слушай, что тебе стоит,
Напиши мне такое письмо.*

Звучит как заклинание. Правда, что мне стоило схватить на почте пачку телеграфных бланков и тут же на обратной их стороне... Но за две недели успела так настроить себя на худшее, хоть день требовался, чтоб отойти. Вот в воскресенье и напишу, как всегда, уединюсь в читальный зал «публички», чтоб никто не мешал.

Не успела. Телефонный звонок из Москвы. Мужской незнакомый голос:

– Будет лучше, если вы всё узнаете сами, а точнее, сами увидите. Приезжайте «Стрелой».

Обещает встретить на выходе с платформы. Говорит, что знает меня, видел в институте. Кому лучше? Мне? Роберту? Ему? И откуда он взялся – доброжелатель?

«Красная стрела» прибывает рано. Город ещё не проснулся. Темно. Зябко.

Доброжелатель небольшого роста, пальто нараспашку, длинный шарф обмотан вокруг горла. Ловим такси. Он называет адрес: улица Воровского. Пока едем, пытается ввести в курс.

.....
Доброжелатель смылся, хоть и обещал ждать. Жгло даже не то, что увидела, а что пришла увидеть, уличить, поддалась на удочку. Есть поступки, которые обратного хода не имеют.

Иду неведомо куда. Холодно, как перед снегом. Ныряю в метро. В глаза лезет табличка: «Нет выхода». А может, прямо здесь, на станции «Маяковская»?.. Эскалатор выносит меня наверх. Снова слоняюсь по улицам до полного упадка сил, пока ноги сами не приводят к знако-

мому в Москве дому Володи Соколова. По случаю воскресенья все в сборе. Похоже, новость их не очень удивляет.

– Это ещё не есть конец, – уверяет Володя, – мужская психология несколько отличается.

Помню, ему и Маринке очень хотелось прояснить, кто же этот «наводчик».

– Как выглядит? Опиши.

– Толком не разглядела.

– А был ли мальчик? – усомнился Соколов. – Ладно, оставайся. Завтра с Робом поговорю, придем вместе.

– Боже упаси! – так этого пугаюсь, что в тот же вечер первым подвернувшимся поездом уезжаю. Вагон без привычного купе – комбинированный. Да... это не «Стрела». Кто-то храпит, тусклая лампочка под потолком освещает выставленные в проход чьи-то ноги. Поезд тащится, останавливаясь у каждого столба. А может, к лучшему, что нет купе. Никто не вовлечёт в разговор. Лежи себе на верхней боковой, думай под стук колёс...

Такое возможно? Только что было письмо в стихах. А не так и давно сеновал и комната, пропахшая яблоками? Наверно, возможно. А если тут и там искренне? Запутался. Я помогу ему. Приеду, сразу подам на развод.

Тихо плачу от собственного благородства, заодно от жалости к себе.

Теоретики утверждают: из всех видов любви самая сильная – романтическая. Возникает она обычно в молодом возрасте и длится до трёх лет. Молодцы теоретики, не ошиблись. На смену ей приходит земная. И тут бессильны стихи и письма.

Дует от окна нещадно. Боюсь упасть с узкой полки, за что-то держусь. И продолжаю «сыпать соль на рану». Когда началось это «начало конца»? Помню, как всё та же «могучая кучка» приехала весной на корюшку. Она идёт косяком, когда вскрыется лёд на Ладоге, и пахнет летом, вернее свежими огурцами.

Хрустели жареной корюшкой. После, как обычно, парад любимых строк. Считалось шиком раскопать этакое неизвестное и радоваться, как найденному кладу. Роберт неожиданно стал читать Пушкина:

*Я вас любил, любовь еще, быть может,
В моей душе угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит.
Я не хочу печалить вас ничем.*

– Что тебя на классику, старик, потянуло? – удивлялись оба Володи.

Но он дочитал до конца:

*Я вас любил так искренне, так нежно.
Как дай вам бог любимой быть другим.*

Спросил:

– Назовите мне того, кто про это написал лучше?

Может, пушкинским шедевром пытался сказать то, чего не решался произнести вслух? А может... Как-то на Невском встретили болгарского поэта, тоже из Литинститута. Тот был с женой – приехали познакомиться с городом. Вчетвером зашли в знаменитый тогда «Север». Пили чай с пирожными. А когда расстались, Роберт спросил почему-то именно про неё: «Как тебе она?» и добавил, шутя вроде: «Вот если бы ты была на неё похожа».

Жена болгарина с милым лицом была необъятна. Прощаясь, я утонула в мягком, как в перине.

– Нравятся, значит, дородные! Вкус такой, – сделала для себя открытие.

После его отъезда делаю отчаянную попытку растолстеть.

Там же, на Невском, рядом с редакцией журнала «Нева», продавали в разлив пивные дрожжи. Перед лекциями по дороге выпивала, зажмурившись, поллитровую кружку! Кто пил когда-нибудь тёплые пивные дрожжи, меня поймёт. Шла потом пешком через Дворцовый мост, дышала свежим невским ветром, чтоб тошноту унять. Зачем пишу, выставляю себя напоказ. Фаина Раневская про мемуары сказала однажды: «...Это когда ты голая моешься в бане, а туда вдруг пришла экскурсия».

Про дрожжи узнали моя ещё школьная подруга Лариса и её муж Пётр – художник.

– Прекрати ты эту гадость пить! – ужаснулся он. – У тебя всё «тип-топ», ты стройная, как и моя Лариска. Не зря я вас, девочки, с натуры писал.

Такое имело место. Не было денег на натурщицу, а надо срочно сдавать зачёт по анатомическому рисунку. Пётр тогда с трудом уговорил нас.

– А Роберт твой, тоже Кустодиев нашёлся – дородных ему подавай!

Кстати, позже появятся в стихах: «Живёт со мною... – дородная, степенная».

Все шестьсот километров пути под грохот вагона на стыках пыталась отыскать логику в том, что произошло. Хотя кто сказал, что она вообще есть у любви.

Прежде чем подать документы на развод, звоню в Петрозаводск Вере Павловне.

– Деточка, успокойся, не делай глупости! Все образуется, – впервые заговорила она со мной так участливо. – Завтра же напишу ему письмо. Кто хоть такая? Знаешь ее?

Не удерживаюсь, наговариваю со слов «добро-

желателя». Выгляжу при этом как последняя ханжа, но остановиться не могу. Как тонущий делает массу ненужных движений, так и я тогда. На развод, как решительно собиралась, сразу не подала. Пролежала несколько дней, тупо смотрела в стенку. Сон ушел. Еда не лезла в горло. Ничего нового – путь, который проходила не я одна. Дома все говорят шёпотом. Даже близнецы притихли.

Заходит отец:

– Очнись, не поэты тоже мужики.

Отвечаю почти афоризмом, где-то услышанным, но с которым согласна: «Мужик, не чувствующий слова, для меня импотент». Мама приводит знакомую докторшу – психиатра (!). Та, подумав, выдает диагноз: «депрессия в связи с отсутствием предмета любви». Это же надо так замечательно казённо выразиться, главное, точно. Рассмешила. «Ну вот, мы уже и смеемся», – заключает она довольная, убирая свой молоточек.

...На курс приносят билеты на спектакль «Они знали Маяковского». Это была даже не премьера, дневной прогон с присутствием Лилии Брик и Василия Катаняна (автора пьесы). Как пропустить такое! Сам спектакль ушёл из памяти, но помню, как ринулись мы к первому ряду, где сидела Лиля Брик, тянули через головы театральные программки для автографа и всю разглядывали главную музу поэта: «Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг». Образ не совпал с легендой. Сидела маленькая высохшая женщина с ярко накрашенными губами. Меховая накидка сутулила её. А глаза были цепкие, почти злые. Рядом стоял во всё своё великолепии Маяковский – Черкасов, не снявший ещё грима. И это подчёркивало контраст. По привычке подумала, поделиться бы с Робертом, но надо привыкать к тому, что его уже нет рядом.

Страну накрыло страшной новостью, о ней сообщило ТАСС. Начинаясь очередная политическая кампания: «Дело врачей». К тому времени уже пережили «Дело промакадемии», «Ленинградское», «Шахтное».

Тут особый случай, у врачей еврейские фамилии. Их обвиняют в смерти Кирова, Горького, Жданова... И понеслось: «Смерть убийцам в белых халатах», «Нелюди в облики зверей», митинги, отклики...

– Мы не должны терять бдительность к тем, кто рядом, – оратор из своих же студентов. Все смотрят на Оську, единственного еврея на курсе (я как бы не в счет, по отцу русская), но от этого не легче. Радио бьётся в истерике, надрывается, можно, конечно, выключить, но не выключаем.

Приходит хорошая мамина знакомая, врач из клиники «Отто» – эндокринолог. Рассказывает, что начались увольнения первоклассных специалистов. Она, как и некоторые, не верит в то, что учёные, отдавшие себя науке, по чьим учебникам не одно поколение студентов выучилось, вдруг шпионы, подсланные к руководителям страны, чтобы убить их. Не верили многие среди интеллигенции. Это был их молчаливый протест.

– Вот когда я умру, вы будете в безопасности – совсем русские, – говорит мама.

Она была недалеко от истины. Через годы станет известно, что всё было готово к депортации. В ЖЭКах составлялись списки жильцов (с пятым пунктом). Было даже известно, с каких вокзалов куда повезут. Отец по жизни был смелым, иногда безрассудно смелым. Говорил напрямую, что думал, и в драку кинуться мог, если слышал крик «Помогите!». Тюрьма и лагерь сделали его другим, осторожным.

Год, как без Роберта. Пропадаю теперь на факультете. Так подробно вижу курс впервые. Он разный. Некоторые на отделении журналистики уже вступили в партию. Способные чётко знают, чего хотят от жизни. Пройдёт несколько лет, их намеченные цели сбудутся.

На курсе была группа слепых после фронта. Они поступали без экзаменов. Мы читали им работы Ленина вслух, а они конспектировали при помощи специальных устройств, чтобы потом сдать зачёт по марксизму. Подошла моя очередь. Помню, сидим в свободной аудитории, у окна, читаю текст, думая о своём. Вдруг стук о картон затих.

– На улице солнце? – спрашивает. На лице, обезображенном ожогами, улыбка. Меня она потрясла тогда: да что мы с нашими любовными переживаниями, хотя и от них не спрячешься. На курсе много пар образовалось. Меня теперь притягивают они своей тайной.

Нина Ошкардарава – Миша Королёв. Она поэтесса (небесное создание). Лёгкие золотые волосы и походка летящая. Тихий голос с придыханием, когда читает стихи, посвящённые в основном ему. А он, суровый на вид, откровенно нацеленный на карьеру (впоследствии станет одним из редакторов центральной «Правды»).

Ира Столярова и Стас Хабаров. Ира строгая, в больших очках, замкнутая на учёбе, чуть ли не с детства решила посвятить себя науке. Стас живёт в общежитии, красавец, шалопай с вечными «хвостами», но обладатель прекрасного баса. На курсе знают, что по воскресеньям он бывает в

профессорском доме на обедах, после которых распевает вместе с профессором арии из опер. Аккомпанирует им Ира. Конёк программы «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской». Через много лет на вечере встречи Стас признается: ходил в профессорский дом голодным в предвкушении обеда. Ну а пел уже на сытый желудок.

– А где Ира Столярова? – спохватились тогда на встрече. Кто-то объяснил, что у неё заседание кафедры. Может, позже появится (она доктор филологических наук, профессор тут же на филфаке).

Да была ещё группа сплотившихся при писании шпаргалок, они гугли на клочке бумаги уместить содержание «Войны и мира» Толстого или «Поднятой целины» Шолохова.

Со своими замечательными подругами Ирой Мейнерт и Зиной Мурзо после лекций, прежде чем расстаться, ходим по набережной, спорим на вечные темы. А сами такие «караси»-идеалисты, как себя называли.

Наше любимое место у каменных сфинксов на спуске к Неве. Куда денешься от памяти, ещё такой близкой. Мы однажды оказались тут с Робертом в белую ночь. Не успели добежать – перед нами развели Дворцовый. Поймали такси, водитель уверял, что знает, какой мост разводят последним. В этой погоне мы проиграли, но зрелище было фантастическое. Мокрый асфальт после дождя. На набережной ни души. Машина мчит. И перед нами медленно один за другим раздвигаются, встают на дыбы мосты.

– Куда вас теперь? – спросил водитель.

Мы сами не знали. Высадил у сфинксов. Сидим на ступеньках. Вода плещется у ног, долетают брызги до лица. Призрачно светло, переключка гудков в тумане, и вдруг сильная волна от проходящего большого корабля.

Вспомнили тогда, кажется, всех, кто написал про белые ночи. «Да, песенный город», – повторял он, но почему-то сам так и не написал о нем. Не его город, так бывает. Вот Москва – его!

Появилось сообщение в печати о том, что «Дело врачей» – ошибка.

Лёд на Неве ещё крепкий. Смелчаки переходят по нему на другую сторону, но ветер пахнет весной. Оттепель на подходе. Никто не знает, что дальше. Верят в лучшее, так уж люди устроены.

После летней сессии родители уговаривают поехать отдохнуть в Прибалтику, собраться с духом перед последним курсом. В советские времена Прибалтика будет для нас отдушиной. Питеру повезло, что она так близко. Мама ещё застала буржуазную Эстонию. От управления

БАЛТЕХ-флота, где работала экономистом, отправили в командировку в Таллин. Она позже часто вспоминала ту поездку. Больше всего поразила незнакомая жизнь, где люди подолгу сидят в маленьких кафе, много цветочных магазинов, нарядных витрин. Я поехала уже в советскую Прибалтику. На базаре в литовском райцентре подошла к телеге, с которой хозяйева чем-то торговали.

– Комнату не сдадите? – спросила.

– Чего не сдать, можно, – ответили, оглядывая меня. – Если не побрезгуешь. По-простому живём на хуторе, без света.

Пока тряслись на телеге, предупредили:

– Старик у нас лежачий, слепой. Как войдёшь – спросит: «В пионерии, в комсомолии?», на всё отвечай «нет». Не суди его, натерпелся он от властей.

Маленький хутор, два дома одной семьи: старики, молодые и дети. Вокруг поля, лес. Пытаюсь помогать по хозяйству, не дают: «Дачница, вот и отдыхай». Для них такое состояние не знакомо – колхоз, скотина, огород. У прибалтов ничем не истребить привычку иметь своё хозяйство.

Вечером усаживаемся на деревянные лавки вдоль длинного стола. Ставят простоквашу в глиняной миске, горячая картошка в мундире высыпана на холщовое полотенце. Заслонка убрана – вот и свет от печки. По субботам топят баньку. Меня тоже стегают вениками. Угощают самогоном сливовым. В общем, живу их жизнью. Читать только нечего. Газета, которую привозит на велосипеде почтальон, и та на литовском. До сих пор имена не забыла: Ванда, Юргис, дочка Мильда, ей пять лет. Общаются в основном с ней.

– Мильда, ка (что это)?

– Карве, пенас (корова, молоко).

Уже счет до десяти знаю. В состоянии, в каком пребывала, хорошо учить незнакомый язык. Если бы затворничество продолжалось, заговорила бы по-литовски. Да, ещё была старуха Марта. Спросила меня как-то:

– Чего всё молчишь-то? Горе какое?

Я неопределённо махнула рукой. Расспрашивать не стала, заметила только:

– Когда человек молчит, он ближе к Богу.

Этот маленький хутор для меня был как «шлюз» из одной жизни в другую.

Филфак изменился. Стены при входе увешаны объявлениями. «Встреча с молодым писателем Даниилом Граниным». Повесть «Искатели». «Новое слово о современной деревне», очерки Валентина Овечкина, напечатанные в журнале «Новый мир». Сам журнал уже тогда брал разбег. В

нём собиралась достойная компания: Юрий Герман, Виктор Некрасов...

На Невском у любимого книжного развала сталкиваюсь с Гнеушевым как с недавним прошлым: «Почему вдруг объявился в Питере? И один ли?» Оказалось, приехал вычитать гранки книжки, которая выходит в «Детгизе».

– Хочешь, вечером у Григго посидим, как бывало?

Зачем-то согласилась, Григорий Павлович без привычных шуток говорит со мной, серьёзно, как с больной. Гнеушев, напротив, весел. Открывает неизменную вишнёвую наливку под Северянина:

*Вонзите штопор в упругость пробки, –
И взоры женщин не будут робки!*

Читал ещё, помню, Солоухина, подражая ему, окая:

*Мне не унять метели,
Не растопить снега...
Но чтобы птицы пели –
Это в моих руках.*

*Прежнего, с кем рассталась,
Мне не вернуть никак...
Но чтобы ты смеялась –
Это в моих руках!*

Я сидела как на собственных похоронах, но жаждала подробностей:

– А живёт он где?

– Не с ней, в общезитии.

– А почему молчит? Ему что, развод не нужен?

– Ты же знаешь, Роб закрытый. Не делится. Развод, полагаю, сейчас ему ни к чему.

В те советские годы считалось: чья инициатива, тот морально неустойчив. Другая сторона – жертва обстоятельств.

Пусть лучше буду морально неустойчивой, чем жертвой, – решила. И отнесла наконец заявление в суд. Перед этим надо ещё было напечатать в газете (всё равно в какой) объявление о разводе. Решила, чтобы избежать разговоров на курсе, сделать это в городской газете Пушкина.

Знаменитый пригород (бывшее Царское Село). Приехала и совсем некстати вспомнила, как после летней сессии мы с Робертом провели тут целый день. У памятника лицеисту, где он сидит задумчиво на чугунной скамейке, фотографировались туристы. В парке было тоже шумно. Люди отдыхали: ели мороженое, пили газировку,

некоторые купались в прудах, несмотря на запреты таблички. Массовые эти гулянья мешали представить, как:

*Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озёрных грустил берегов...*

Помню, искали, куда бы уединиться. По замыслу архитектора, в Баболовском парке такие места имелись: поляны-круги, густо обсаженные деревьями. Не тут-то было: в одном пели под баян, в другом после трапезы спали в траве. Дошли до Китайской деревни, её как раз реставрировали. Дальше начиналось поле. На пригорке стояла то ли часовня, то ли беседка. Оказалась она в полном запустении. Кто успел побывать в ней, оставили, как водится, автографы, варвары! Правда, искушение тоже было. Возвращались мимо цветочного питомника. Роберт перемахнул через ограду, успел сорвать несколько флоксов на длинных стеблях. Откуда-то взялись собаки. Они летели на него с диким лаем. Спас, слава богу, баскетбольный прыжок. А у памятника всё та же картина: «На фоне Пушкина снимается семейство».

– Сюда хорошо приехать зимой и рано утром, когда Пушкин один, – решили мы тогда.

...Вот он один. Тихо, прошла метель, замела трость у скамейки. На голове пушистая шапка из снега укрыла бронзовые кудри.

Суд назначили на тридцатое декабря – в канун Нового пятьдесят пятого года. Бабушка, не зная, чем поддержать, успела сшить мне шубку. Достала всё из того же волшебного сундука куски меха, кожи и на допотопной ножной машинке «Зингер» сотворила, как всегда, чудо.

В тот день стоял мороз. До здания суда на Фонтанке городской транспорт не доходил. Иду пешком. Серый гранит домов в инее. Неба не видно, туман, машины с включенными фарами. Могла бы и на такси, но хочу быть свежей с мороза. Открываю двери старого особняка и сразу узнаю лица (группа поддержки). Они всем курсом, что ли, приехали?

– О! – увидев меня, произносит свита.

Кто-то пропел: «Она казалась ёлочной игрушкой в оригинальной шубке из мехов».

– Ну что, истица? – спрашивает Роберт, вроде шуточно, но в лицо вглядывается осторожно.

Тут всех позвали в зал. Первый ряд занимали постоянные зрители, кто ходит на открытые гражданские дела, особенно на разводы, как в театр.

С моей стороны никого. Родителей уговорила не ходить, а курс был не в курсе, скрыла дату.

Произношу что-то тихим голосом.

– Громче, пожалуйста, вас не слышно, – просит судья.

Объясняю, что муж полюбил другую женщину, поэтому прошу нас развести.

– Как у вас просто получается: полюбил, разлюбил. Да вы ещё и жизни не узнали, – реплика одного из присяжных.

– Нет, – возражаю. – Он не такой. Если случилось, значит, серьёзно.

Доходит очередь до «ответчика». Роберт от волнения больше обычного заикается, буксует на букве, которая не даётся. Переживаю уже за него: «Что за буква, ну замени слово!» Наконец выпаливает залпом:

– Согласен с тем, что сказала «истица».

Ах, вот она – буква С, потому такой свист получился. Я почему-то спокойна, не нарочно стараюсь, может, такая защитная реакция.

Нас развели. Первый ряд недовольно хлопает крышками стульев: «Скучно. «Кина» не вышло».

Все как-то быстро разошлись. По возгласам поняла – свита отправилась в буфет здесь же в здании. Роберт отстал. Подходит в пустом уже вестибюле. Спрашивает, что буду делать потом. После диплома. Пожимаю плечами.

– А знаешь, попроси, чтоб распределили на Алтай в Косиху, будешь в старших классах литературу вести. Я обязательно приеду туда на малую родину.

На такой романтической ноте мы расстались. Позже будут стихи про ту же малую родину:

*Мы не приедем,
Напрасно не жди.
Есть на планете
Другие пути!*

Меня, выходит, отсылал туда как своё недолгое прошлое.

Дома пахнуло теплом, трещали дрова в печке (тогда ещё в старых каменных домах не было батарей). На своём привычном месте в углу стояла ёлка.

– Что, развелись? – спросил отец. Спросил буднично, будто такое случается каждый день. – Ну и ладно. Помогай наряжать.

Достаю из картонного ящика завернутых в вату смешных зайцев, белок, фигурки красноармейцев, лыжников, полярников – ещё сохранившиеся довоенные игрушки.

Снова весна. И вопреки всему ожидание неясного чуда. Диплом готов, отдан оппонентам на рецензию. В нём про поэзию двадцатых-тридцатых. В центре всё тот же Маяковский.

Телефонный звонок, которого уже точно не ждала.

– На линии Петрозаводск, говорите!

И голос Роберта. Спрашивает, смогу ли подойти на вокзал, называет вагон. Правда, это ночью.

– Смогу.

Один из близнецов (им уже по пятнадцать), Юра, вызвался провожать. По дороге гадаем, что бы значило это? Договариваемся с Юрой, что он станет ждать меня внутри вокзала.

Пустая платформа. Пахнет дымом, паровозы ещё топили углем.

Бесшумно возник поезд. Роберт легко спрыгивает с подножки.

– Спасибо, что пришла.

Извлекает из внутреннего кармана пальто книжку в голубом переплётё: «Флаги весны». Протягивает:

– Вот, первая, контрольный экземпляр.

– Поздравляю! То ли ещё будет.

– Думаешь?

– Уверена.

– Ну, спасибо.

Открываю, на титульном листе знакомым почерком: «Прежней Лене. Март 1955 г. Петрозаводск. Р.Р.». Сердце стучит уже в горле.

Поезд уютно сверкнул окнами, скрылся в темноте. Пытаюсь читать у тусклого фонаря. Наконец напечатали поэму «Моя любовь», которая сделала главное: помогла Роберту поверить в себя.

Из книжки выпал листок, отпечатанный на машинке, стихи Симонова «Через двадцать лет». Забыл вынуть? Прочла и поняла:

*Когда-нибудь в тиши ночной
С черемухой и майской дремой,
У женщины совсем чужой
И всем нам вовсе незнакомой,*

*Заметив грусть и забытьё
Без всякой видимой причины,
Что с нею, спросит у нее
Чужой, не знавший нас, мужчина.*

*А у нее сверкнет слеза,
И, вздрогнув, словно от удара,
Она поднимет вдруг глаза
С далеким отблеском пожара:*

*– Не знаю, милый. – А в глазах
Вновь полетят в дорожной пыли
Кавалеристы на конях,
Какими мы когда-то были.*

Стихи совпали с мыслями...

□

Елена Николаевна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

родилась в Ленинграде.

Окончила Ленинградский университет.

Журналист.

Работала в газетах Краснодара, Ашхабада, Владивостока.

Длительное время – на Ленинградском радио,

в «Ленинградской правде».

В 90-е годы организовала газету

«Выборгские ведомости» и была ее редактором.

В настоящее время живет в Германии.

В журнале Север публикуется впервые.

